



**ЖАН ПОЛЬ**

**САРТР**

**СЛОВА**

*Книги, изменившие мир.  
Писатели, объединившие  
поколения.*

Э К С К Л Ю З И В Н А Я    К Л А С С И К А

Эксклюзивная классика (АСТ)

Жан-Поль Сартр

**Слова**

«ФТМ»

«Издательство АСТ»

1964

УДК 821.133.1-31  
ББК 84(4ДѡЃѢ°)-44

## **Сартр Ж.**

Слова / Ж. Сартр — «ФТМ», «Издательство АСТ»,  
1964 — (Эксклюзивная классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-095693-7

«Слова» (1964) – автобиографичная повесть Жана Поля Сартра. Автор откровенно рассказывает о своем детстве, родных и друзьях, о первом знакомстве с книгами и постепенном понимании своего призвания стать писателем: «Я обрел свою религию: книга стала казаться мне важнее всего на свете». Франция второй четверти XX века, модные тогда писатели и книги – обо всем этом Сартр пишет остроумно и язвительно, но и к себе он относится не менее критично: раскрывает читателю собственные детские фантазии и заблуждения, отразившиеся уже на его взрослой жизни. В формате a4.pdf сохранен издательский макет.

УДК 821.133.1-31  
ББК 84(4ДѡЃѢ°)-44

ISBN 978-5-17-095693-7

© Сартр Ж., 1964  
© ФТМ, 1964  
© Издательство АСТ, 1964

# Содержание

Читать	6
Конец ознакомительного фрагмента.	15

**Жан Поль Сартр**  
**Слова**  
*Повесть*

Jean-Paul Sartre

Les mots

© Editions Gallimard, Paris, 1964

© Перевод. Ю. Яхнина, наследники, 2016

© Перевод. Л. Зонина, наследники, 2016

© Издание на русском языке AST Publishers, 2016

*Госпоже Z*

## Читать

В конце сороковых годов прошлого века многодетный школьный учитель-эльзасец с горя пошел в бакалейщики. Но расстрига-ментор мечтал о реванше: он пожертвовал правом пестовать умы – пусть один из его сыновей пестует души. В семье будет пастырь. Станет им Шарль. Однако Шарль предпочел удрать из дому, пустившись вдогонку за цирковой наездницей. Отец приказал повернуть портрет сына лицом к стене и запретил произносить его имя. Кто следующий? Огюст поспешил заклать себя по примеру отца, он стал коммерсантом и преуспел. У младшего, Луи, выраженных способностей не было. Отец сам занялся судьбой этого невозмутимого парня и, недолго думая, сделал его пастором. Впоследствии Луи простер сыновнюю покорность до того, что в свой черед произвел на свет пастыря – Альберта Швейцера, жизненный путь которого всем известен. Меж тем Шарль так и не догнал свою наездницу. Символический жест отца наложил на него неизгладимую печать: у него на всю жизнь сохранилась склонность к возвышенному и он лез из кожи вон, раздувая мелкие происшествия до размера великих событий. Иначе говоря, он вовсе не стремился заглушить в себе семейное призвание – он хотел лишь посвятить себя духовной деятельности более либерального толка, принять сан, совместимый с наездницами. Университетское поприще оказалось в самый раз. Шарль решил стать преподавателем немецкого языка. Он защитил диссертацию о Гансе Саксе, сделался приверженцем «прямого метода», объявив себя впоследствии его основоположником, выпустил в содружестве с господином Симонно солидный учебник «Deutsches Lesebuch», быстро пошел в гору: Макон – Лион – Париж. В Париже на выпускном вечере он произнес речь, удостоившуюся отдельного издания: «Господин министр! Дамы и господа! Дорогие дети! Вы никогда не угадаете, о чем я буду говорить с вами сегодня! О музыке!» Он набил руку в стихках на случай. В кругу семьи любил повторять: «Луи у нас благочестивый, Огюст самый богатый, я самый умный». Братья хохотали, невестки кусали губы.

В Маконе Шарль Швейцер женился на Луизе Гийемен, дочери адвоката-католика. Свадебное путешествие она вспоминала с отвращением. Похитив невесту в разгар обеда, жених втолкнул ее в поезд. В семьдесят лет она все еще не могла забыть, как в каком-то привокзальном буфете им подали салат из лука-пороя: «Шарль съел все луковицы, а зелень оставил мне». Две недели они прожили в Эльзасе и все это время не вылезали из-за стола. Братья изощрались в ватерклозетных анекдотах на местном диалекте; по временам пастор обращался к Луизе и из христианского милосердия переводил их.

Луиза не преминула раздобыть по знакомству медицинское свидетельство, которое избавляло ее от исполнения супружеских обязанностей и давало право обзавестись отдельной спальней. Она жаловалась на головные боли, чуть что укладывалась в постель, возненавидела шум, страсти, восторженность – все грубое бытие Швейцеров, земное и театральное. Эта живая, но холодная насмешница мыслила здраво и предосудительно, потому что муж мыслил благонамеренно и несуразно, а так как он был лжив и легковверен, она все подвергала сомнению: «Говорят, что земля вертится, – откуда им это знать?» Окруженная добродетельными комедиантами, она возненавидела комедиантство и добродетель. Утонченная реалистка, затесавшаяся в семью спиритуалистов-мужланов, стала вольтерьянкой, не читав Вольтера, из духа противоречия. Маленькая, пухленькая, циничная и игривая, она ударилась в безоговорочное отрицание. Пожатьем плеч, иронической улыбкой ради собственной утехи – не для окружающих – она сводила на нет все напыщенные тирады. Ее снедали гордыня всеотрицания и эгоизм неприятия. Она ни с кем не поддерживала отношений – слишком самолюбивая, чтобы домогаться первого места, слишком тщеславная, чтобы довольствоваться вторым. «Умейте поставить себя так, чтобы вас искали», – твердила она. Ее искали усердно, потом все меньше и меньше и, наконец, не видя ее, забыли. Теперь она не покидала своего кресла и кровати.

Плотоугодники и пуритане – сочетание добродетелей куда более распространенное, чем это принято считать, – Швейцеры любили крепкое словцо, которое, принижая плоть, как это приличествует христианскому благочестию, в то же время свидетельствует о широкой терпимости к ее естественным проявлениям; Луиза предпочитала двусмысленности. Она зачитывалась фривольными романами, ценя в них не столько фабулу, сколько прозрачные одежды, в которые ее рядили. «Весьма рискованно и мило», – с намеком замечала она. «Здесь скользко – будьте осторожны!» Эта женщина-ледышка едва не лопнула со смеху, читая «Пламенную деву» Адольфа Бело. Она любила рассказывать анекдоты о брачной ночи, всегда с плохим концом: то муж в грубом нетерпении ломал жене шею о спинку кровати, то потерявшую рассудок новобрачную находили на шкафу, куда она пряталась от своего благоверного.

Луиза жила в полумраке; Шарль входил в ее комнату, распахивал ставни, зажигал все лампы разом, она стенала, прикрывая рукой глаза: «Шарль, я ослепну!» Впрочем, ее протест не выходил за рамки парламентской оппозиции. Шарль пугал Луизу, вызывал нестерпимое раздражение, временами, наоборот, даже неприязнь, она хотела одного – чтобы он ее не трогал. Но как только он начинал кричать, она сдавала все позиции. Он нахрапом сделал ей четырех детей: дочь, умершую в младенчестве, двух сыновей и еще одну дочь. То ли по равнодушию, то ли в знак лояльности он разрешил воспитать детей в католической вере. Безбожница Луиза из ненависти к протестантству внушила детям набожность. Оба сына взяли сторону матери. Она их потихоньку спровадила подальше от необузданного отца. Шарль этого даже не заметил. Старший, Жорж, поступил в Политехнический, младший, Эмиль, стал учителем немецкого. Он для меня загадка. Оставшись холостяком, он во всем остальном подражал отцу, хотя и не любил его. В конце концов отец с сыном поссорились; время от времени происходили торжественные примирения. Эмиль напускал на себя таинственность. Он обожал мать и до конца дней имел привычку без всякого предупреждения наносить ей украдкой визиты: осыпал ее поцелуями и ласками, затем начинал разговор об отце, сперва иронически, потом с яростью, а на прощанье хлопал дверью. Очевидно, Луиза любила его, но побаивалась. Эти крутые упрямыцы – отец и сын – утомляли ее, и она предпочитала им Жоржа, который всегда отсутствовал. Эмиль умер в 1927 году, рехнувшись от одиночества; у него под подушкой обнаружили револьвер, а в чемоданах две сотни дырявых носков и двадцать пар стоптанных ботинок.

Анн-Мари, младшая дочь, все свое детство просидела на стуле. Ее научили скучать, держаться прямо и шить. У Анн-Мари были способности – из приличия их оставили втуне; она была хороша собой – от нее постарались это скрыть. Скромные и гордые буржуа Швейцеры считали, что красота им не по карману и не к лицу. Они уступали ее графиням и шлюхам. Луизу снедала бесплоднейшая спесь: из боязни попасть впросак она не признавала ни за детьми, ни за мужем, ни за собой самых очевидных достоинств. Шарль не понимал, кто красив, кто нет, – он путал красоту со здоровьем. С тех пор как его жена хворала, он искал утешения у дюжих идеалистов, усатых и цветущих – кровь с молоком. Пятьдесят лет спустя, рассматривая семейный альбом, Анн-Мари обнаружила, что была красавицей.

Примерно в то самое время, когда Шарль Швейцер познакомился с Луизой Гийемен, некий сельский врач взял в жены дочь богатого землевладельца из Перигора и обосновался с ней в Тивье на унылой главной улице, прямо против аптеки. Наутро после свадьбы обнаружилось, что у тестя нет ни гроша. Взбешенный доктор Сартр перестал разговаривать с женой и в течение сорока лет не сказал ей ни слова. За столом он изъяснялся жестами, и она в конце концов стала звать его «мой постоялец». Тем не менее он делил с ней ложе и время от времени, все так же не открывая рта, делал ей очередного ребенка: она родила ему двух сыновей и дочь. Этих детей безмолвия нарекли Жан-Батист, Жозеф и Элен. Элен немолодой уже девицей вышла замуж за кавалерийского офицера, который впоследствии сошел с ума. Жозеф, отслужив свой срок в зуавах, поспешил уйти в отставку и вернуться в отчий дом. Профессии у него не было. Очутившись между немым отцом и крикливой матерью, он стал зайкой и до конца дней враж-

довал со словами. Жан-Батист поступил в мореходное училище, чтобы повидать море. В 1904 году в Шербуре, морским офицером, уже подточенным тропической лихорадкой, он познакомился с Анн-Мари Швейцер, окрутил эту заброшенную долговязую девушку, женился на ней, в два счета наградил ребенком – мной – и сделал попытку умыть руки, отойдя в иной мир.

Но умереть не так-то просто: тропическая малярия развивалась не спеша – временами наступало улучшение. Анн-Мари самоотверженно ухаживала за мужем, не позволяя себе, однако, такого неприличия, как любовь. Луиза настроила дочь против супружества: кровавый обряд открывал вереницу ежедневных жертв вперебивку с еженощной пошлостью. По примеру собственной матери, моя мать предпочла долг утехам. Она почти не знала отца ни до, ни после свадьбы и, должно быть, порой с недоумением спрашивала себя, с чего этому чужаку взбрело на ум испустить дух у нее на руках. Больного перевезли на мызу неподалеку от Тивье, отец ежедневно навещался к сыну на двуколке. Бдения и заботы подорвали силы Анн-Мари, у нее пропало молоко, меня отдали кормилице, жившей по соседству, и я тоже приложил все старания, чтобы отправиться на тот свет от энтерита, а может, просто в отместку. В двадцать лет моя мать, неопытная и одинокая, разрывалась между двумя умирающими, совершенно ей незнакомыми. Ее брак по рассудку обернулся болезнью и трауром.

Меж тем обстоятельства играли мне на руку: в ту пору матери сами кормили новорожденных и кормили долго. Не подоспей, на мое счастье, эта двойная агония, мне не миновать бы опасностей, которым подвергается ребенок, поздно отнятый от груди. Но я был болен, и когда меня, девятимесячного, пришлось отлучить от груди, в лихорадке и бесчувствии взмах ножниц, которыми разрезают последнюю нить, связывающую мать с младенцем, прошел для меня не замеченным. Я окунулся в мир, населенный примитивными галлюцинациями и первородными фетишами. После смерти отца мы с Анн-Мари оба разом очнулись от наваждения, я выздоровел. Но вышла неувязка: Анн-Мари обрела любимого сына, которого, по сути дела, никогда не забывала, я пришел в себя на коленях у незнакомки.

Оказавшись без средств, без образования, Анн-Мари решила вернуться под отчий кров. Но Швейцеры были уязвлены неподобающей смертью моего отца: уж очень она походила на развод. А так как моя мать не смогла ни предвидеть ее, ни предотвратить, ответственность возложили на нее: она легкомысленно выскочила замуж за человека, нарушившего правила благопристойности. Долговязую Ариадну, возвратившуюся в Медон с младенцем на руках, приняли как нельзя лучше: мой дед, подавший было в отставку, вернулся на службу, ни словом не попрекнув дочь; даже бабка не выказала злорадства. Но, подавленная благодарностью, Анн-Мари в безупречном обхождении угадывала хулу. Что и говорить, родня предпочитает вдову матери-одиночке – но только как меньшее из двух зол. Стремясь заслужить отпущение грехов, Анн-Мари не щадила своих сил. Она взвалила на свои плечи хозяйство – сначала в Медоне, потом в Париже, была одновременно гувернанткой, сиделкой, домоправительницей, компаньонкой и служанкой, но ей так и не удалось смягчить затаенную досаду матери. Луизе надоедало начинать день составлением меню и кончать его проверкой счетов, но ей было не по нутру, когда обходились без нее, – она не прочь была избавиться от обязанностей, но не желала терять прерогативы. Стареющая и циничная, Луиза сохранила одну-единственную иллюзию: она считала себя незаменимой. Иллюзия рассеялась – Луиза преисполнилась ревности к дочери. Бедняжка Анн-Мари! Сиди она сложа руки, ее бы попрекали, что она обуза, но она не покладала рук, и ее заподозрили в том, что она хочет стать хозяйкой в доме. Чтобы обойти первый риф, ей пришлось призвать на помощь все свое мужество, чтобы обойти второй, – все свое смирение. Не прошло и года, как молодая вдова вновь оказалась на правах несовершеннолетней – девицы с пятном на репутации. Никто не лишал ее карманных денег – ей просто забывали их дать; она донашивала платья чуть ли не до дыр, а деду не приходило в голову купить ей новое. Даже в гости ее неохотно отпускали одну. Когда подруги, большей частью замужние дамы, приглашали ее, им приходилось загодя испрашивать соизволения деда,

обещая при этом, что его дочь доставят домой не позже десяти. После ужина вызывали экипаж, хозяин дома вставал из-за стола, чтобы проводить Анн-Мари. А тем временем дед в ночной рубашке мерил шагами спальню, не выпуская из рук часов. На десятом ударе разражалась гроза. Приглашения поступали все реже, да и мать потеряла охоту к развлечениям, которые доставались такой дорогой ценой.

Смерть Жан-Батиста сыграла величайшую роль в моей жизни: она вторично поработила мою мать, а мне предоставила свободу.

Хороших отцов не бывает – таков закон; мужчины тут ни при чем – прогнали узы отцовства. Сделать ребенка – к вашим услугам; иметь детей – за какие грехи? Останься мой отец в живых, он повис бы на мне всей своей тяжестью и раздавил бы меня. По счастью, я лишился его в младенчестве. В толпе Энеев, несущих на плечах своих Анхизов, я странствую в одиночку и ненавижу производителей, всю жизнь сидящих на шее родных детей. Где-то в прошлом я оставил молодого покойника, который не успел стать моим отцом и мог бы теперь быть моим сыном. Повезло мне или нет? Не знаю. Но я обеими руками готов подписаться под заключением известного психоаналитика: мне неведом комплекс «сверх-я».

Умереть – это еще не все: важно умереть вовремя. Скончайся мой отец позднее, у меня появилось бы чувство вины. Сирота, сознающий свое сиротство, склонен себя корить: опечаленные лицезрением его персоны родители удалились в свое небесное жилище. Я блаженствовал: моя печальная участь внушала уважение, придавала мне вес; сиротство я причислял к своим добродетелям. Мой отец любезно отошел в вечность по собственной вине – бабушка постоянно твердила, что он уклонился от исполнения долга. Дед, по праву гордившийся живучестью Швейцеров, не признавал смерти в тридцатилетнем возрасте: в свете столь подозрительной кончины он стал сомневаться, существовал ли вообще когда-нибудь его зять, и в конце концов предал его забвению. А мне даже не пришлось забывать: покинув земную юдоль на английский манер, Жан-Батист не удостоил меня знакомством. Я и по сей день удивляюсь, как мало знаю о нем. Меж тем он любил, хотел жить, понимал, что умирает, – иначе говоря, был человеком. Но к этой человеческой личности никто из членов моей семьи не пробудил во мне интереса. Долгие годы над моей кроватью висел портрет маленького офицера с простодушным взглядом, круглым лысым черепом и большими усами; когда мать вышла замуж второй раз, портрет исчез. Позднее мне достались книги покойного: трактат Ле Дантека о перспективах науки, сочинение Вебера «Через абсолютный идеализм к позитивизму». Как и все его современники, Жан-Батист читал всякий вздор. На полях я обнаружил неразборчивые каракули – мертвый след недолго горевшего пламени, живого и трепетного в пору моего появления на свет. Я продал книги: что мне за дело до этого покойника? Я знал о нем понаслышке, не больше чем о Железной Маске или шевалье д'Эоне, и то, что было известно, не имело ко мне никакого отношения; даже если он и любил меня, брал на руки, смотрел на сына своими светлыми, ныне истлевшими глазами, никто не сохранил в памяти этих бесплодных усилий любви. От моего отца не осталось ни тени, ни взгляда – мы оба, он и я, какое-то время обременяли одну и ту же землю, вот и все. Меня воспитали в сознании, что я не столько сын умершего, сколько дитя чуда. Этим наверняка и объясняется мое беспримерное легкомыслие. Я не вождь и не хотел бы быть вождем. Повелевать и подчиняться – это, в сущности, одно и то же. Самый полномочный человек всегда повелевает именем другого – канонизированного захребетника, своего отца, и служит проводником абстрактной воли, ему навязанной. Я отродясь не отдавал приказаний, разве чтобы посмешить себя и окружающих. Язва властолюбия меня не разъедает, немудрено – меня не научили послушанию.

Слушаться – но кого? Мне показывают юную великаншу и говорят, что это моя мать. Сам я склонен считать ее скорее старшей сестрой. Мне совершенно ясно, что эта девственница, проживающая под надзором, в полном подчинении у всей семьи, призвана служить моей

особе. Я люблю Анн-Мари, но как мне ее уважать, когда никто ее в грош не ставит? У нас три комнаты: кабинет деда, спальня бабушки и «детская». «Дети» – это мы с матерью: оба несовершеннолетние, оба иждивенцы. Но все привилегии принадлежат мне. В мою комнату поставили девичью кровать. Девушка спит одна, пробуждение ее целомудренно: я еще не открыл глаза, а она уже мчится в ванную комнату принять душ; возвращается она совершенно одетая – как ей было меня родить? Она поверяет мне свои горести, я сострадательно выслушиваю; со временем я на ней женюсь и возьму под свою опеку. Мое слово нерушимо: я не дам ее в обиду, пушу в ход ради нее все свое юное влияние. Но неужто я стану ее слушаться? По доброте душевной я снисхожу к ее мольбам. Впрочем, она никогда ничего от меня не требует. Словами, оброненными как бы невзначай, набрасывает она картину моих будущих деяний, осыпая меня похвалами за то, что я соблаговолю их совершить: «Ненаглядный мой будет умницей, паймальчиком, он даст своей маме пустить себе капли в нос», – и я попадаюсь на удочку этих разнеживающих пророчеств.

Был еще патриарх: он так походил на Бога-Отца, что его нередко принимали за Всевышнего. Как-то раз он вошел в церковь через ризницу – в эту минуту кюре грозил нерадивым карами небесными. И вдруг прихожане заметили у кафедры высокого бородатого старца – он смотрел на них; верующие пустились наутек. Иногда дед утверждал, что они пали перед ним ниц. Он вошел во вкус таких пришествий. В сентябре 1914 он явил себя народу в кинотеатре Аркашона. У нас с матерью были места на балконе – вдруг раздался голос деда: он требовал, чтобы дали свет. Вокруг него какие-то господа, подобно сонму ангелов, возглашали: «Победа! Победа!» Бог поднялся на сцену и прочел коммюнике о победе на Марне. Когда дед был еще чернобородым, он разыгрывал из себя Иегову, и я подозреваю, что он виновен в смерти Эмиля – косвенно, конечно. Этот гневный библейский бог алкал крови своих сыновей. Но я появился на свет к концу его долгой жизни. Борода его стала седой, пожелтела от табака, роль отца ему приелась. Впрочем, будь я его сыном, он, пожалуй, не удержался бы и поработил меня – просто по привычке. На мое счастье, я принадлежал мертвецу. Мертвец бросил семя, которое принесло обычный плод – ребенка. Я был ничейной землей – дед мог пользоваться мной, не имея на меня прав владения. Он звал меня «светом своих очей», ибо ему хотелось сойти в могилу в образе просветленного старца. Он решил видеть во мне особую милость Провидения, дар свыше, которого в любую минуту можно лишиться. Какие же он мог предъявлять ко мне требования? Самый факт моего существования переполнял его восторгом. Дед вошел в роль бога любви, наделенного бородой Бога-Отца и сердцем Бога-Сына. Он возлагал руки мне на голову, я чувствовал теменем тепло его ладоней, дребезжащим от умиления голосом он называл меня своим дитяткой, и его холодные глаза увлажнялись слезами. Знакомые негодовали: «Этот щенок свел его с ума!» Дед меня обожал – это видели все. Любил ли он меня? В страсти, столь рассчитанной на публику, трудно отличить, где искренность и где притворство. Мне что-то не помнится, чтобы дед проявлял особенно пылкие чувства к другим своим внукам. Правда, он их редко видел и они в нем не нуждались, а я целиком зависел от него – он обожал во мне собственное великодушие.

По совести сказать, старик несколько пересаливал по части возвышенного. Он был сыном XIX века и, как многие, как сам Виктор Гюго, мнил себя Виктором Гюго. На мой взгляд, этот красивый длиннородый старик всегда пребывал в ожидании очередного театрального эффекта, точно алкоголик в ожидании очередной выпивки, пал жертвой двух новейших открытий: фотоискусства и «искусства быть дедушкой»<sup>1</sup>. На его счастье и беду, он был фотогеничен; наш дом был наводнен его изображениями. Моментальных снимков в ту пору еще не делали, и поэтому дед пристрастился к позам и живым картинкам. Под любым предлогом он вдруг останавливался, эффектно замирал, каменел; он обожал эти краткие мгновения вечно-

<sup>1</sup> «Искусство быть дедушкой» – название сборника стихотворений В. Гюго. – *Здесь и далее примеч. пер.*

сти, когда он превращался в памятник самому себе. Из-за его пристрастия к живым картинкам он и сохранился у меня в памяти только как застывшая проекция волшебного фонаря. Опушка леса, я сижу на поваленном стволе, мне пять лет; на Шарле Швейцере панама, кремовый в черную полоску костюм из фланели, белый пикейный жилет, перерезанный цепочкой от часов, на шнурке свисает пенсне; дед склонился ко мне, воздел палец с золотым перстнем и вещает. Вокруг темно, сыро, и только его борода лучится: дед носит свой нимб под подбородком. Не знаю, о чем он говорит. Я так рьяно старался слушать, что не слышал ни слова. Полагаю, что этот старый республиканец времен Империи наставлял меня в моих обязанностях гражданина и излагал буржуазную историю: жили-были в давние времена короли и императоры, это были гадкие люди, их прогнали, все идет к лучшему в этом лучшем из миров.

Вечерами, встречая деда на дороге, мы тотчас узнавали его в толпе пассажиров, высыпавших из фуникулера, по его исполинскому росту и осанке танцмейстера. Заметив нас еще издали, он мгновенно, повинувшись указаниям невидимого фотографа, «становился в позицию»: борода по ветру, плечи расправлены, пятки вместе, носки врозь, грудь колесом, объятия широко раскрыты. По этому знаку я замирал, чуть наклонившись вперед, – бегун на старте, птичка, которая вот-вот вылетит из аппарата. Несколько мгновений мы пребывали в такой позе – прелестная группа саксонского фарфора – потом я бросался вперед – мальчик с цветами, фруктами и счастьем деда, – притворно задыхаясь, утыкался носом в его колени, а он, подбросив меня на вытянутых руках, прижимал к сердцу, шепча: «Сокровище мое!» Такова была вторая фигура танца, пользовавшаяся громадным успехом у прохожих. Мы вообще разыгрывали нескончаемое представление из сотни разнообразных скетчей: тут были и флирт, и минутные размолвки, и добродушные поддразнивания, и ласковая воркотня, и любовная досада, и нежное шушуканье, и страсть. Мы изобретали препоны на пути нашей любви, чтобы насладиться их преодолением. На меня временами находило упрямство, но даже в моих капризах сквозила редкостная чувствительность: он, как подобает деду, грешил благородным и простодушным тщеславием, слепотой и предосудительным потворством по рецепту Гюго. Посади меня мать и бабушка на хлеб и воду, дед таскал бы мне сласти, но запуганным женщинам это и в голову не приходило. Впрочем, я был пай-мальчик: моя роль мне так нравилась, что я и не собирался из нее выходить. В самом деле, поспешное исчезновение отца наградило меня весьма ослабленным «эдиповым комплексом»: никаких «сверх-я» и вдобавок ни малейшей агрессивности. Мать всецело принадлежала мне, никто не оспаривал у меня безмятежного обладания ею; я не знал, что такое насилие и ненависть, был избавлен от горького опыта ревности. Действительность, на острые углы которой мне ни разу не пришлось наткнуться, вначале предстала передо мной улыбчивой бесплотностью. Против кого или чего мне было бунтовать? Ничья прихоть ни разу не пыталась диктовать мне правила поведения.

Я любезно позволяю, чтобы меня обували и впускали мне капли в нос, причесывали и умывали, одевали и раздевали, холили и лелеяли. Моя самая любимая забава – разыгрывать пай-мальчика. Я не плачу, почти не смеюсь, не шумлю; когда мне было четыре года, меня застигли за попыткой посолить варенье – из любви к науке, полагаю, а не по злему умыслу. Так или иначе, никаких других проказ моя память не сохранила. По воскресеньям наши дамы иногда ходят к мессе послушать хорошую музыку, знаменитого органиста. Ни та, ни другая обрядов не соблюдают, но истовость верующих располагает их к музыкальному экстазу: пока звучит токката, они веруют в Бога. Для меня нет ничего слаще этих минут духовного воспарения. Окружающие клюют носом – самое время показать, на что я способен: упершись коленями в скамеечку, я обращаюсь в статую, Боже сохрани шевельнуть хотя бы мизинцем; я смотрю прямо перед собой, не мигая, пока по щекам не заструятся слезы. Конечно, я веду титаническую борьбу с мурашками в ногах, но я уверен в победе и настолько преисполнен сознания своей силы, что бесстрашно возбуждаю в себе самые греховные искушения, дабы вкусить сладость торжества над ними. А что, если я вдруг вскочу и заору: «Таррарабум!» А что, если я

вскарабкаюсь на колонну и сделаю пипи в кропильницу? Эти чудовищные видения придают особую цену похвалам матери после службы. Впрочем, я лгу самому себе – притворяюсь, будто мне грозит опасность, чтобы приумножить свою славу. На самом деле никакие соблазны не способны вскружить мне голову: слишком я боюсь скандала. Уж если я намерен повергать окружающих в изумление, то только своими добродетелями. Легкость, с какой я одерживаю эти победы, доказывает, что у меня хорошие задатки. Стоит мне внять моему внутреннему голосу, меня осыпают похвалами. Дурные желания и мысли, если уж они у меня появляются, приходят извне; едва закрывшись в мою душу, они хиреют и чахнут – я не благодарная почва для греха. Добродетельный из любви к рисовке, я при этом не лезу вон из кожи, не насилую себя – я творю. Я наслаждаюсь царственной свободой актера, который, держа публику в напряжении, шлифует свою роль. Меня обожают – стало быть, я достоин обожания. Вполне понятно – ведь мир устроен превосходно. Мне говорят, что я хорош собой, и я этому верю. С некоторых пор у меня на глазу бельмо, впоследствии я буду косить и окривею, но пока это еще не заметно. Меня то и дело фотографируют, и мать ретуширует снимки цветными карандашами. Одна из фотографий сохранилась: я на ней белокур, розов, кудряв, щеки пухлые, во взгляде ласковая почтительность к установленному миропорядку, в надутых губках затаенная наглость – я знаю себе цену.

У меня хорошие задатки, но этого мало: мне положено быть пророком, ведь истина глаголет устами младенцев. Они еще не оторвались от природы, они сродни ветру и морю – имеющий уши может почерпнуть в их лепете пространные и расплывчатые откровения. Моему деду довелось плыть по Женевскому озеру в обществе Анри Бергсона. «Я потерял голову от восторга, – рассказывал дед. – Я не мог насмотреться на сверкающие гребни, на зеркальный блеск воды. А Бергсон просидел все время на чемодане, уставившись взглядом в пол». На основании этого путевого наблюдения Шарль сделал вывод, что поэтическое созерцание превышает философию. И он созерцал меня: в саду, полулежа в шезлонге с кружкой пива под рукой, он глядел, как я бегаю и играю, выискивал мудрость в моей бессвязной болтовне и находил ее. Впоследствии я посмеивался над этой манией – теперь я в этом раскаиваюсь: то было предвестие смерти. С помощью экстаза Шарль пытался перебороть страх. Он восхищался во мне восхитительным созданием земли, стараясь убедить себя, что все прекрасно – даже наш жалкий конец. Повсюду – на вершинах гор, в волнах, среди звезд, в истоках моей юной жизни – он стремился приобщиться к природе, в лоно которой ему предстояло вскоре вернуться, приобщиться, чтобы охватить ее целиком и принять всю без изъятия, вплоть до могильной ямы, уже вырытой для него. Не истина, а его собственная смерть глагодала ему моими устами. Немудрено, что пресное счастье моих младенческих лет имело порой загробный привкус: своей свободой я был обязан одной смерти – весьма своевременной, своим положением – другой, давно ожидаемой. Впрочем, как известно, пифии всегда вещают от имени загробного мира, дети – всегда зеркало смерти.

Помимо всего прочего, деду очень нравилось злить своих сыновей. Всю жизнь они находились под пятой грозного отца: они входят к нему на цыпочках и застают его на коленях перед мальчишкой – как тут не полезть на стенку! В борьбе отцов и детей младенцы и старики нередко действуют заодно: одни прорицают, другие толкуют прорицания. Природа глаголет, опыт комментирует – среднее поколение может заткнуться. Если у вас нет ребенка, заведите пуделя. В прошлом году на собачьем кладбище, читая взволнованный панегирик, который эстафетой передается от одного надгробия к другому, я вспомнил изречения деда: собаки умеют любить, они отзывчивей, преданней людей; они наделены тактом, безупречным чутьем, которое помогает им распознать добро, отличить хорошее от дурного. «Полониус! – взывала неутешная хозяйка. – Ты лучше меня: ты бы не пережил моей смерти – я живу». Со мной был мой друг, американец. Он в бешенстве пнул ногой какую-то гипсовую собачку и отбил ей ухо. Я его понимаю: тот, кто чрезмерно любит детей и животных, любит их в ущерб человечеству.

Итак, я многообещающий пудель. Я прорицаю. Я болтаю по-детски – мои слова запоминают, повторяют мне, по их образцу я изготавливаю новые. Я болтаю и по-взрослому, я наловчился с наивным видом высказываться «не по годам разумно». Высказывания эти – истинные поэмы; рецепт их прост: наобум, на авось, наудачу заимствуй у взрослых целые фразы, расставь их как бог на душу положит и повторяй, не вникая в смысл. Словом, я изрекаю пророчества, и каждый толкует их по своему разумению. В глубинах моего сердца рождается само добро, в тайниках моего юного сознания – сама истина. Я восхищаюсь собой, положившись на взрослых: иногда до меня даже не доходит, в чем смысл моих слов и жестов, но взрослым она бросается в глаза. Ничего не попишешь! Я готов самоотверженно доставлять им изысканное наслаждение, недоступное мне самому. Мое кривлянье рядится в тогу великодушия: горемыки-взрослые страдали, не имея детей; растроганный, в порыве альтруизма, я вышел из небытия, обернувшись дитятей, дабы им казалось, будто у них есть сын. Мать и бабушка частенько подбивают меня разыгрывать одну и ту же сцену – акт неизреченного милосердия, вызвавшего меня к жизни. Они потворствуют причудам Шарля Швейцера, его любви к театральным эффектам, они устраивают ему сюрпризы. Они прячут меня позади какого-нибудь кресла, я стараюсь не дышать, женщины уходят из комнаты или делают вид, будто забыли обо мне. Входит дед, усталый и угрюмый, каким он и был бы, не живи я на свете, и вдруг я выхожу из своего тайника, являя деду милость своего рождения. Он замечает меня, входит в роль, с просветленным челом воздевает руки к небу: я существую, больше ему нечего желать. Иными словами, я одариваю собой, одариваю всегда и повсюду, одариваю всех. Стоит мне приоткрыть дверь – и мне, как деду, начинает казаться, что я являю себя народу. Построив дом из кубиков, слепив пирожок из песка, я кричу во все горло: на мой зов всегда кто-нибудь прибежит и ахнет. Одним счастливецом больше – и все благодаря мне! Еда, сон, переодевание, смотря по погоде, – таковы основные развлечения и обязанности, предусмотренные строжайшим ритуалом моей жизни. Ем я на людях, словно король; если я ем с аппетитом, меня осыпают поздравлениями. Даже бабушка восклицает: «Вот умница, проголодался!»

Я неустанно творю себя: я даритель и я же даяние. Останься мой отец в живых, я бы познал свои права и обязанности. Но он умер, и я о них ведать не ведаю: у меня нет прав, потому что я взыскан любовью, у меня нет обязанностей, потому что я дарю из любви. Я призван нравиться, и только; все напоказ. Наша семья – какой разгул великодушия: дед дает мне средства к жизни, я даю ему счастье, мать жертвует собой ради всех. Теперь, по зрелом размышлении, только одно ее самопожертвование и кажется мне непритворным, но в ту пору мы были склонны обходить его молчанием. Так или иначе, жизнь наша – вереница церемоний, и все наше время уходит на воздаяние взаимных почестей. Я чту взрослых при условии, что меня боготворят; я правдив, откровенен, ласков, как девочка. Я благонамерен, доверяю людям; все они добры, ибо всем довольны. Общество рисуется мне строгой иерархией заслуг и полномочий. Тот, кто находится на верхних ступенях лестницы, отдает все, что имеет, тем, кто находится внизу. Лично я отнюдь не претендую на самую верхнюю ступень: мне известно, что она отведена суровым, благомыслящим людям, которые блюдут порядок. Я устроился на скромной боковой жердочке неподалеку от них и излучаю сияние во всех направлениях. Словом, я стараюсь держаться подальше от мирской власти, ни наверху, ни внизу – в стороне. Внук служителя культа, я с детства проявляю наследственные склонности: во мне елейность князей церкви, меня влекут утехы рясоносцев. С меньшей братией я обращаюсь как с равными; это ложь во спасение, я лгу, чтобы их осчастливить, а им надлежит попадаться на удочку, но не до конца. К няне, к почтальону, к комнатной собачонке я обращаюсь терпеливым и сдержанным тоном. В нашем упорядоченном мире есть бедные. Бывают даже всякие диковинки, сиамские близнецы, железнодорожные катастрофы. Но в этих несообразностях никто не повинен. Честные бедняки не подозревают, что их жизненное назначение – давать пищу нашей щедрости. Это стыдливые бедняки – они жмутся к стенкам. Я бросаюсь к ним, сую им в руку мелочь и,

главное, одариваю их пленительной улыбкой – улыбкой равенства. Вид у них дурацкий, и мне противно прикасаться к ним, но я принуждаю себя – это искус. К тому же необходимо, чтобы они меня любили, любовь ко мне скрасит им жизнь. Я знаю, что им не хватает насущного, и мне нравится быть для них предметом роскоши. Впрочем, как бы они ни бедствовали, им не изведать тех страданий, что выпали на долю моего деда: ребенком он вставал до рассвета и одевался в потемках, зимою, чтобы умыться, приходилось разбивать лед в графине с водой. К счастью, времена изменились: дед верит в прогресс, я тоже. Прогресс – это длинный крутой подъем, который ведет ко мне.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.